

Григорий Померанц Юность и зрелость

Ч.1. Зрелость ученичества

Автор «Маленького принца» писал, что все взрослые – очень скучные люди; только о политике и галстуках говорят. Но в «Цитадели» Сент-Экзюпери делит взрослых на две группы: сохранивших цельность и потерявших ее. Вождь, от имени которого ведется рассказ, сравнивает современную культуру и современную личность с веником, рассыпавшимся на прутики. Взрослые потеряли себя в массе информации и скрывают свою разорванность пустой болтовней. Надо осознать свою пустоту и поставить себе задачу: связать прутики волшебным узлом. Сперва – в самом себе. А потом восстановить целостность культуры, раскрыть ее колодцы в глубину, заваленные шелухой. Здесь хочется прибавить к словам Сент-Экзюпери слова Антония Сурожского, которые я часто повторял: всякий грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной.

Проблемы внутренней разорванности и поиски цельности занимали меня с 16 лет. Думаю, что и сегодня они занимают учеников 9-го, 10-го класса, некоторых студентов. В моей книге, изданной в Норвегии, было несколько слов об этом, и ко мне приехал скандинавский ученый Кристиан Эгге, собиравший ответы на вопрос: что делать в современной школе после отмены обязательной молитвы, на что опираются идеи свободы и ответственности человека?

Обязательная молитва была отменена по двум причинам. Во-первых, население быстро перемещается, и в одном классе могут оказаться исповедники разных религий. Мартин Бубер ярко описал чувство унижения, которое он испытал в детстве, молча присутствуя при католической молитве, чуждой ему. Кроме того, некоторые старшие школьники могут быть убежденными атеистами, и обязательная молитва будет вызывать у них бунт. Здесь мы подходим ко второй причине секуляризации школы: естественные науки доказывают, что в человеке нет ничего вечного, что он конечен и обречен исчезнуть без следа (лопух вырастет, как говорил Базаров); нами управляют гены и гормоны и еще какие-то неизвестные факторы, не оставляющие никакого места для свободы и достоинства. Может ли человек без религиозного откровения найти противовес генам и гормонам, найти цельность, чувство внутренней бесконечности, уравновешивающее страх перед тьмой внешней?

Кристиан Эгге дал мне прочесть, что ему на это ответили африканский архиепископ Туту и Уоллес, секретарь Далай-Ламы. Каждый из них опирался на свою традицию. Я попытался ответить иначе, опираясь только на свой личный опыт. Правда, опыты такого рода тоже имеют традицию, и второй

толчок взглянуться в бездну пространства и времени мне дал Тютчев, а Тютчев испытал влияние Паскаля, и я мог бы начать с «Мыслей» Паскаля и стихов Тютчева. Но опыт такого рода – всегда личный опыт, и первый опыт я пережил с обыкновенной тангенсоидой из учебника тригонометрии. Как это она могла прыгнуть в бесконечность и вернуться из нее? А я, нырнув в бесконечность, вынырну или нет? Опыт Тютчева и Толстого только показал мне, что страх бесконечности не может быть снят логическим рассуждением; иначе вопрос уже был бы ими решен. Оставалось растравить в себе страх бездны. Я уже говорил об этом в эссе «Метафизическое мужество». Я, конечно, смертен. А всякое конечное число, деленное на бесконечность, равно нулю. Значит, я нуль и вся наша культура – нуль. Рано или позже время пожрет ее (кстати, на санскрите время и смерть обозначаются одним словом – Кала). Значит – или смерть, или в глубине страха, в который я погружался, есть какая-то светлая сила, опровергающая темную бесконечность смерти, и я прорвусь к ней. Я уже рассказывал все это. Прорыв произошел, после трех месяцев работы с самодельным коаном¹: если бесконечность есть, то меня нет. А если я есмь, то бесконечности нет.

Трудно описать, что собственно я пережил. Словно вспышка осветила две идеи, показавшиеся мне очень важными. Несколько лет спустя, я согласился, что ничего нового в них не было, просто две разновидности идеализма, субъективного и объективного. Но через эти мысли пробилось чувство, что я как-то связан со светлым и бесконечным, уравнивающим тьму внешнюю. Сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Но у меня не было любви, скорее гордость мнимым открытием. Значит – Божья любовь. Значит, мы окружены каким-то светлым духом, и к нему можно пробиться, если всем собой рвануться к нему. Страх бесконечности исчез. И еще два раза я переживал нечто подобное: после испуга от бомбежки в 1942 г. и после промывки мозгов на Лубянке в 1984 г. Каждый раз страх быстро исчезал и приходило чувство полета над страхом.

Единственный ли это способ прорыва к свету? Ни в коем случае. В 1958 году на волне любви я стал молиться (хотя никогда до этого не молился): чтобы ты стала мной и я тобой и друг через друга в вечность. Вспышка света была ослепительной, и я сразу понял, что целостная вечность на менее реальна, чем мир, расколотый на предметы. Я как бы окунулся в вечный свет. Впоследствии я читал, что все это много раз повторялось. Есть путь страха, в Тибете, – чо-па. Монахи проводят ночь за ночью на кладбище, у свежих могил, и трубят в трубу из берцовой кости. Очень близка к этому и память смертная, *momento mori*, у

¹ Загадкой, не имеющей рациональной разгадки в буддизме дзэн.

христианских подвижников. Св.Иероним изображен медитирующим, глядя на череп. Таков Путь страха. Но есть и другие пути. Есть восточные течения, которые видят в страстной любви мужчины и женщины, дошедшей до глубины сердца, подобие порыва к Богу. На Западе культ Мадонны перекликался с культом дамы. Из этой переклички вырос пушкинский рыцарь бедный. Любовная лирика доисламского племени узритов получила новую жизнь в суфизме. Этот путь еще не исчерпан

Прорыв в глубь возникает от страха или от любви, но сильной, очень сильной, и мы попадаем в другую реальность. Какую? Не знаю. Обязательна ли при этом вера? Нет. Я не верил в возможность помогать другому молитвой, только пробивать что-то в себе самом. Но жена моя Зина была схвачена каким-то спазмом, теряла сознание и сказала, что умирает. В состоянии стресса я стал молиться, ломая свое неверие в силу молитвы, и какая-то сила передалась Зине. А у меня два дня держалось повышенное давление – таким было усилие ломки. Только постепенно молитвенное усилие стало привычным и радостным.

По-моему, Кришнамурти был прав, называя свои высшие взлеты безмянным переживанием. Я чувствовал силу такого переживания и в стихах Зины, и в текстах великих созерцателей, о которых писал, и они становились для меня авторитетными. Но при первых подступах к рассказу об этом люди либо немеют, либо переходят к метафорам. Точность описания возможна только при ограниченности предмета, который мы пытаемся описать. Описать свое созерцание Мертон не мог. Он говорил, что созерцанию так же нельзя научить, как нельзя научить быть ангелом. Что может сделать образование? Только не мешать, не загораживать путь словами, не утверждать, что всякое переживание, не доступное повторению исправным учеником, это иллюзия, фантом, греза. Школа должна учить пониманию границ слова. Стоит вспоминать иногда стихи Марии Петровых: ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи... И вдруг немеют уста, тоскуя по лжи... И дальше: попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви... Даже о нашей несовершенной любви нельзя сказать, не солгав, тем более о совершенной любви, изгоняющей страх. Каждая попытка описать озарение в положительных терминах не выдерживает критики. Бога можно почтить только молчанием, говорил Джордано Бруно. Устарел не опыт великих подвижников, а их язык, их излишнее стремление приблизиться к уму своему времени. Нам надо найти язык нашего времени, не мешающий поискам вечно-целостного, всегда личный. И тогда мы вдруг понимаем, что все атеизмы – «не про то», как говорил князь Мышкин.

Образ целостно-вечного, скрытый в глубине сознания, может жить в современном мире как незримый стержень, достигнутый немногими, но все же

достижимый, реальный, хотя и не доказуемый. Точность доказательства – функция логически корректных операций с банальными, конечными предметами мысли, с атомарными фактами – и только. Такой атомарный факт – среднестатистическая личность. Но личность с окошком в бесконечность недоступна точной науке. О Гамлете пишут четыреста лет, а познается он только личностно, по-своему, и точный ответ, что такое Гамлет, немислим. Еще более не поддаются определению центральные символы религии. Все символы веры – только символы, интеллектуальные иконы. Религии древней Индии строились на символах, которые никогда не превращались в символ веры, не сводились к словам. «Язык атмана – молчанье». На все попытки определить Атман Яджньявалкья отвечал: «Не это! Не это!». Так в Брихадараньяке–упанишаде. А в Чхандогье Уддалака Арунья уклонялся от прямого определения другой формулой: «Ты – это то!» Ищи ответ в себе самом, в глубине самого себя.

Частные науки, доступные точному определению, рассматривались как второстепенные, группировались вокруг стержня, оставшегося непостижимым. В православии непостижимость центральных святынь подчеркивал С.Л.Франк. Незыблемо только непостижимое. Все, что определяется, доказывается, может быть и опровергнуто. На чем же держится непостижимое? На авторитете людей, переживших его. На узнавании подлинности их переживания. Я как-то сразу чувствую превосходство духовного опыта Антония, Мертона и других, хотя не всегда согласен с их словами. Мне кажется, эту способность можно развивать.

Чувство святой тайны, чувство непостижимого трудно раскрыть и укрепить в себе, не опираясь на авторитет прошлых искателей, но я пытаюсь ввести понятие гибкого авторитета. Достоин нашего доверия опыт древних и средневековых подвижников, а язык, описывающий этот опыт, условен. Он меняется, переходя от эпохи к эпохе и от культуры к культуре. Язык книги Иова устарел, но опыт Иова остается незыблемым и для ортодоксального иудея, и для Достоевского, и для меня. То же можно сказать о святынях других традиций.

Развитие духовной интуиции начинается в школьные годы, но оно никогда не кончается. Индийские брахманы учились всю жизнь. Ученье их делилось на три цикла, и в каждом был свой уровень зрелости: зрелость ученика, брахмачарья; зрелость в создании своей семьи, своего дома (грихастья) и зрелость учителя (варнапрастха). В наших условиях эта схема требует уточнений и поправок, но оглядывая свой путь, я вижу, что интуитивно пробивался именно к чему-то очень сходному. Меня всегда тянуло к опыту избранных. И я думаю, что школа должна с ним знакомить, передавать как

авторитет культуры, на котором тысячелетия держались великие цивилизации. Ученик должен усвоить его по крайней мере как задачу. Тот, кто не может его вместить, приучается узнавать его в других и доверять им. Только с этим уровнем зрелости он вправе строить семью и определять свое место в обществе, продолжая доучиваться в практической жизни, в попытках сохранить дух культуры в собственном доме. И если это удалось ему, он в какой-то миг чувствует призвание учителя и может рассказывать о своем опыте другим.

Индийские брахманы, выполнив задачу грихастьи и воспитав взрослых сыновей, уходили в лес и предавались созерцанию непостижимого, передавая свой опыт следующему поколению учителей. Но брахманы оставались ограниченным сословием хранителей культуры. Эта монополия была поставлена под вопрос выходцами из других сословий. Вступая на духовный путь, они становились отшельниками, порывали с кастой и семьей. Таким образом достигалась открытость духовного пути для каждого, но зато вне святого пути оставалась семья. Эта важная потеря есть и в христианском монашестве. Мне кажется, что в XX веке наметилось сознание ограниченности монашества, в частности – у Мертона. Некоторые его мысли поддерживают мой жизненный выбор. Я решал, одну за другой, проблемы брахмачарьи, грихастьи и варкапрастхи. Хотя в этих терминах никогда не думал.

Зинаида Александровна развивалась иначе. Она перескочила через первые ступени одним порывом просветления. Это более редкий случай. В чем-то она сразу зашла дальше меня, я это понял с первой встречи. Но, так или иначе, люди, не способные жить на уровне шелухи, будут рваться вглубь. Без этого не сложится критическая масса, необходимая для спасения цивилизация, не восстановится интеллигенция или что-то вроде интеллигенции. Один из путей к этому – дом, основанный на любви, о котором пойдет речь в следующей части.

2. Дом, построенный на любви

Мне хочется вернуться назад и сказать, что развитие человека начинается до культуры, в утробе. На последнем месяце беременности это уже человек. И этот человек чувствует мир как любящую цельность. Младенец знает это осязанием, он все время притрагивается к любящей цельности, нежится в ней, прислушиваясь к перестуку двух сердец, своего и материнского. Утроба для него – вселенная любви, потому что ничего, кроме утробы, он не осязает, и за утробой прямо начинается Бог. Потом, родившись на свет, мы то чувствуем Его, то теряем, порываемся вернуться, соединяя отдельные радостные впечатления в одно целое, плача, когда оно рушится, рассыпается на злые предметы. Фрейд пытался свести мир младенца к сексу, но секс – частность

осязания, частность, через которую взрослые, потерявшие младенческую цельность, иногда возвращаются к ней, переживая соединение инь и ян как Дао, путь цельности. Но происходит это у взрослых очень редко. То, что сейчас называется любовью, мало отличается от любви обезьян.

Сказав это, я чувствую необходимость сразу сделать поправку. Резких границ между обезьяньим и человеческим нет. Полнота любви – редкость, очень много переходных форм, человеческого, в которое врывается обезьянье, и обезьяньего, в которое вдруг врывается человек. Я, к примеру, был очень развязан в своем юношеском воображении, но скован в живом присутствии девушки. Мне было бы страшно стыдно подойти к ней со своими желаниями, я предполагал, что каждой девушке хочется любви, а любовь во мне как-то не рождалась, не было личной необходимости в присутствии вот этой именно, неповторимой, незаменимой. Мои поиски колодца в бесконечность через страх, через полет над страхом, заставляли смутно ждать колодца в бесконечность и в любви, а где же его взять?

В конце концов, меня подхватили наплывы. Что такое наплыв? Эпидемия влюбленности, не всегда эротическая, влюбляются и в идеи. Но в начале войны был массовый наплыв желания чьей-то любви как оберега против смерти. Жди меня, и я вернусь. Я это пережил, я пытался на воспоминании об этом строить после войны семью с Миррой Зайдман, хотя по сути наплыв уже выдохся, по сути было желание двух одиноких людей найти друг в друге убежище от холода, уголок тепла, и мы его нашли. Но я был более одинок и заброшен, чем Мирра, и мне тепла не хватало. У нее полнота сердца принадлежала папе и маме, мне достался свой ломтик. Его не хватило, чтобы приехать в лагерь на свидание. Ее мама хранила верность папе, но к нему на свидание не ездила, и это стало семейной нормой. Я помучился и отрезал от себя то, что болело, вместе со всякой мыслью о женщине. Мы с папой неудачники и надо это признать как судьбу. Философу можно жить одному.

Одновременно в лагере произошло другое отречение, более важное и глубокое. Я об этом уже рассказывал. Мне вдруг стало ясно, что нет превосходства моего ума над другими, нет вообще никакого безусловного превосходства одного ума, нельзя бесконечную сложность жизни описать с точки зрения одной головы. Предоставляю друзьям бороться за первое место, а себе беру второе. Со временем я к этому прибавил: но зато прошедшее сквозь сердце. Целостная истина только в сердце. Частные конструкции для частных целей, частные теории стоят вне полноты истины и не годятся для оправдания поступка.

Эти два минуса вступили между собой в тайные отношения и не сложились в еще один минус, а приготовились умножиться друг на друга и

вдруг дать плюс. Плюсом было скрытое движение к полноте сердца. И первая интеллигентная собеседница, которой я посочувствовал, вызвала нарастающее чувство любви. Девушка стала символом, принцессой, попавшей в рабство, и я готов был ей служить, как бедный рыцарь Мадонне.

В коридорах института такие легконожки бегали стайками, не действуя на мое сердце. Но Ирочку Семенову подсветила рампа истории, и выявилась сложившаяся во мне склонность искать королеву, раненую судьбой, не признанную людьми, и возвести ее на трон моей любви. Впоследствии, даже живя в счастливом браке, я переживал подобные порывы, сочувствуя Клайву Льюису, полюбившему женщину, больную раком, или – лет на двадцать раньше, после чтения рассказов Ингбор Бахман, уже мертвой, думая о встрече с ней в 1945 году, чтобы не кончилась ее жизнь самоубийством.

Рампа – великая фабрика наплывов. Влюбляются в певцов, влюбляются в актрис, князья за бешеные деньги выкупают цыганку из хора, а через полгода не знают, что с ней делать. Влюбляются в лекторов. Один из моих старших друзей широко этим пользовался. И есть еще рампа истории, рампа обстоятельств, сочувствие к девушке, работавшей на морозе, когда я сижу у печки (к нам на площадку подсобных мастерских Ирочка попала случайно, ненадолго). Когда ее списали с площадки, я проснулся в пять часов утра, обливаясь слезами. Наплыв может быть потрясающе сильным, зажигающим и раскрывающим сердце, но нет главного, нет зрячести, бесконечного познания бесконечно раскрывающейся глубины. Влюбленность, рожденная наплывом, слепа, она создает кумир из двух–трех улыбок. Редкие встречи оставляют простор воображению, и я два года добивался любви Ирочки, пока не увидел ее свободной, совершенно счастливой на вечеринке с танцами, среди друзей, наводивших на меня скуку. Кумир сразу рухнул.

Любовь не слепа, она видит всё как есть, со своими пороками, тонущими во внутренней цельности характера. Моей любви нужна была королевская душа. Ирочка была мнимой королевой, но она оставила во мне знание моего собственного сердца, его силы, которой я не ожидал в себе, и смутную догадку о его направленности.

Бомба замедленного действия взорвалась через два года, в Москве. Женщину опять звали Ирочкой. Я относился к ней с симпатией, но не собирался вмешиваться в ее разваливающийся второй брак. Я знал от ее мужа, что он мечтает о разводе – и не решается сделать первый шаг. Боится обморока и вспышки туберкулезного процесса. Боится бытовых трудностей размена. Уезжая в отпуск, чтобы отдохнуть от напряженных отношений с женой, он попросил меня навещать больную, остававшуюся одна в пустой квартире. Я обещал и добросовестно приходил день через день. Чтобы не повторять

надоевших споров за и против позитивизма, предложил читать стихи. Наедине, запертая в пустой квартире болезнью (и может быть депрессией), Ира вдруг раскрылась в стихах, ставших ее собственным голосом. Она ни о чем не рассказывала, ни на что не жаловалась, встречала меня обычной дружеской улыбкой, но стихи Ахматовой, Цветаевой переносили меня на низкое небо поэзии, а стихи Гумилева даже касались высокого неба. В каждый из любимых стихов она вкладывала всю себя. Ни до, ни после я не слышал такого чтения. Я стал заходить каждый вечер. Я стал просыпаться в пять часов утра (знакомый симптом). Я решил переговорить с товарищем, когда он вернется. Я не дождался. Книга (антология лирики XX века) упала на пол, и «больше мы в тот день не читали».

После этого поэтического начала (Данте, Ад, гл.5) надо было пройти через другие главы ада. У нас ничего не было для того, чтобы создать наш нерушимый дом, кроме главного: любви. И любовь пробивалась месяц за месяцем сквозь строй проблем, ссор, грязных сплетен (брак, в который я вторгся, считался образцовым; скелет, запертый в шкафу, не демонстрировался гостям). Получив, наконец, 10 м² на четвертом этаже по крутой лестнице для Иры и ее младшего сына (старший жил в общежитии МГУ), мы пытались как-то ужиться втроем, прислушиваясь, заснул ли Лёдик, и будя его приступами тошноты от начинавшейся беременности. Я не стал ждать очереди на комнату в новом доме, по праву реабилитации, ухватился за возможность вселиться в свою наследственную келью Раскольниковова, 7 м² между кухней и уборной, и при очередной стычке с пятнадцатилетним соперником сказал (чувствуя, что рискую всем): «Больше на Трубную не поеду. Если захочешь, приезжай ко мне на Зачатьевский». Приезжать все-таки пришлось, когда Муравьевы всей семьей болели гриппом и надо было кому-то за ними ухаживать. Но Ира все чаще оставалась у меня и, наконец, совершенно переселилась в мой шалаш, где я придумывал все новые ритуалы любви, а бунтующий Лёдик (с которым мы окончательно помирились только после смерти его матери) остался один со своими кучами неубранной посуды. Ира страдала от полуразлуки с сыном (по вечерам приезжавшим к нам поужинать), но изменить уже ничего не могла.

Между тем, победа чуть не оказалась Пирровой. Ира пару раз говорила мне: «самое опасное препятствие для любви – когда не остается никаких препятствий». Тогда надо самому создать барьер сдержанности. А для этого надо откровенно рассказать Ире то, что известно со времен неолита, но почему-то не передавалось по наследству в просвещенный век. Психологическая задача была в том, чтобы признаться в своей личной слабости (которой на самом деле не было, но я познакомился с данными истории, этнологии и мифологии гораздо позже). Я преодолел свое ложное самолюбие – и никаких трудностей не

оказалось. Ира минуту подумала и предложила ритуал, который с тех пор строго выполнялся.

Однако надо было придумать, как теперь, при сдержанности, провести более длинную линию в ее сознании, чем линии, оставленные в прошлом. И я открыл тихую музыку осязания (которая опять-таки была кому-то когда-то известна, но не мне). И оказалось, что музыка осязания допускает выход в созерцание сердца сердцем, без обязательного (и потому не свободного) подчинения гормонам. И гормоны подчинились, как дыхание флейтисту.

Тогда наступил полдень любви. Научившись полету над страхом космической бездны и на войне – полету над страхом смерти, я научился теперь полету над инерцией чувственности, разрушающей чувство. И достаточно было взять друг друга за руку, чтобы почувствовать пуповину, связывающую с вечностью. Достаточно было погасить свет – и мы оказывались в царстве, где нельзя говорить ни о чем дневном, обрывалась дневная мысль...

Иногда в это царство вривалась тень смертельной болезни, о которой днем Ира забывала, но мы ее быстро отгоняли. Семья, разбросанная по трем концам Москвы, собиралась по вечерам. Мальчики часто приводили своих товарищей, ко мне приходили одноклассники, заходил и мой учитель Леонид Ефимович, привязавшийся к Ире, и хотя споры не прекращались, но никогда не было отчуждения между отцами и детьми, и каждому, кто приходил, доставалась улыбка королевы. Многие даже не догадывались, что эта улыбка была победой воли к радости над всеми проблемами.

Утвердившись на своем брезентовом стуле, временно заменившем трон, Ира потянулась к неоконченной повести «Царевна–Колокольчик», потом пришел заказ на книгу об Андерсене, и в три месяца она выучила датский язык и бранила Паустовского, что он не знаком с источниками и многое путает. Книга вышла на прилавки в день похорон. Как говорят, Бог посетил нас. Ира сочла бы трусостью отказаться от операции, которую ей предложили. И на операционном столе она умерла.

Со мной она, вероятно, прожила бы еще несколько лет. Но ранняя смерть все время над ней висела. Начало болезни было в Абакане, в попытке тысячами километров отгородиться от Петрозаводска, скрыть тамошнее громкое дело и продолжать работать, как прежде, читать лекции «от Гомера до Фарера» – не разводясь с врагом народа. На свидания пускали и разведенных жен, но сам жест покорности был ей невыносим. И в то же время ее мучил страх. Прячась от своего страха, она вела беспорядочную жизнь, много пила – и, казня себя, ухаживала за подругой, больной открытой формой туберкулеза, ела с ней из одной посуды, не желала беречь жизнь. И позже у нее были порывы отчаянья, от которых радовались туберкулезные палочки.

Но Бог милостив. Он дал сбыться ее снам, пережить то, чего никогда не было и не бывает (это почти точно ее собственные слова, с которыми я не соглашался, я верил, что так может быть и у других, если каждый будет вести себя, как я), и однажды я услышал от нее, что она не жалеет о своей болезни, потому что без этого я не коснулся бы жены товарища.

Когда Адам познал Еву, люди были простыми и быстро познавали друг друга и прилеплялись друг к другу, по Библии: да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Сейчас и мужчины и женщины стали сложнее и не складываются в 15 лет. Они продолжают сводить концы с концами и в 30 и в 40 и иногда растут в разные стороны; тогда подлинным браком бывает не первый, а третий, как у Ирины Всеволодны Мейерхольд. Но подлинная близость – это все-таки норма, а то, что на каждом шагу – дурной сон. И само продолжение роста – источник неисчерпаемости брака: если рост идет в глубину, то познание друг друга идет дальше и дальше вглубь, до двух образов Божьих, мужского и женского, соединяющихся, как инь и ян в Дао.

Смерть Иры казалась мне концом света, моим малым, личным светопреставленьем. Никому не желаю этих мук. Но Бог был милостив и ко мне. Я вырвался из отчаянья. Я нашел исцеление в стихах Зины:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу – по мне.

Этот образ Бога заполнил бездну, которую я нес в себе, и я снова почувствовал себя живым лекарством для раненой королевы. И дом, основанный на любви, все-таки был построен, стоит сорок четыре года, не поддаваясь старости, и я надеюсь, что память о нем останется. Останется в стихах Зины. Останется в моих эссе, которые я начал писать, одно за другим, на втором году нашей общей жизни. Остается в наших чтениях, на которых мы одновременно учим и учимся.

3. Узнавание

Слово узнавание пришло ко мне, когда захотелось как-то назвать мгновенное чувство доверия, вызванное стихами Зинаиды Миркиной. Я тогда очень нуждался в Боге, чтобы заполнить дыру в душе после смерти Иры Муравьевой. Но церковные представления о Боге вызывали сопротивление. И вдруг строки:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу – по мне.

Они сразу встали на место. Мне навстречу плеснуло откровение; и мне было все равно, что это откровение признал только я. Для других его не было.

Узнавание, о котором я говорю, похоже на чувство, с которым Симон Петр пошел за никому не известным человеком. Я никуда не пошел, но не двинулся с места двенадцать часов и все слушал и слушал, отказываясь от обеда и не давая никого накормить. Какой обед, когда разъяснялось отношение между Богом и человеком.

В узнавании образа Божьего есть что-то сходное с узнаванием своей пары в половой любви, но оно создает не семью, а общину, и не равенство двух, а иерархию, к которой могут примкнуть многие. То, что при такой иерархии возможна и половая любовь, – идея, которая очень медленно проникала в мою голову, хотя я был вдов, а Зина – девушкой. То, что она была не только сивиллой, что она не совсем выжжена вошедшим Богом и сохранила девичью ипостась, я заметил только несколько месяцев спустя. Решение пожениться пришло в глубоком сердце, без всякого участия гормонов. Они проснулись, когда мы поцеловались: они покорялись сердцу и не мешали познанию Любви, правящей мирами. Мне кажется, это ясно из стихов Зинаиды Александровны, написанных уже после того, как мы сложились в одну молекулу.

В первичном узнавании пол не участвовал. Зинаиду Миркину узнавали – с первого взгляда – и женщины. Это узнавание глубин души, где инь и ян сошлись в Дао.

Это также узнавание отблеска глубины в тексте. В наши дни традиции линяют, сбрасывают часть старой словесной кожи и шатаются все авторитеты. Линяет семья, основанная на авторитете старших и религиозном обряде. Линяют сами священные тексты, на которых основан обряд. Женщина, выходя замуж, не чувствует себя за каменной стеной и не готова рожать, как прабабушка Зинаиды Миркиной, 22-х детей. Статистически средняя женщина и двоих не хочет родить. Прочная семья, основанная на подлинной любви, складывается редко, гораздо реже, чем распадаются патриархальные семьи. Дом, построенный на любви, не попадает в статистику. То, что называют любовью – только увлечение. В лучшем случае – оно переходит в дружбу. Адам не познает Еву (и Ева Адама), это не разворачивается в процесс познания бесконечно углубляющейся личности. Скорее приходит в голову другое библейское выражение: Иуда (сын Якова) вошел к Фамари, и она зачала во чреве. А потом Иуда забыл Фамарь и ей пришлось доказывать его отцовство.

Когда-то я говорил, что демократия в России растет, как морковь, а коррупция – как сорняк, и сорняк морковку глушит. Сегодня – совсем

заглушил. Так может быть и с линькой христианской традиции во всем мире. Новое рождается, но сорные семена развала растут быстрее. В этой обстановке сложилась временная сила ислама. Она вся в том, что линька в исламе только-только началась и может опоздать еще на сотню лет. Что за это время станет с Европой, со всем христианским миром? Кризис христианства рождает слабость цивилизации, кризис ислама рождает террор. Как эти два кризиса сложатся?

На этот вопрос пока нет ответа. Возможно, Патрик Бьюкенен, автор книги «Смерть Запада», окажется правым, и нынешняя цивилизация сохранится только как материал для следующего витка истории, как Рим – для варварских королевств. Но вклад Рима в историю не пропал. Возможна эпоха хаоса. Но рано или поздно вновь всплывет узнавание, чувство подлинности слова или взгляда, передаваемое из сердца в сердце.

В моей жизни узнаванию предшествовал несовершенный личный опыт и тоска по полноте бытия. Но иногда свет дается по благодати с детства, или внезапно озаряет какого-нибудь разносчика, не знавшего никаких метафизических проблем. Можно говорить о всплесках, о взрывах откровения. А с течением времени слова, рожденные откровением, сами по себе становятся откровением, почитаются как святыня. Одна из задач узнавания – пробиваться через словесный покров к самому всплеску, отделить дух от несовершенной буквы.

Зинаида Александровна много раз говорила, что ее лучшие переводы – не со слов, а с бессловесного переживания, в которое она входила вместе с поэтом, и из которого каждый выходил на свой язык. По аналогии с этим мы стали понимать святыне писания как своего рода перевод. Озаряет несказанный внутренний свет, и в этом свете человек, измученный противоречиями жизни, вдруг видит, как подняться над ними, и пытается высказать свой взлет на языке своей культуры. Или передать само состояние взлета – из глаз в глаза, из сердца в сердце.

Один из истоков суфизма, преобразившего ислам (для тех, кто мог вместить...), – личность Рабийи. Она была рабыней-танцовщицей, от этой юности осталось ее двустишие: «всем нужно мое тело, никому не нужна моя душа». Постепенно нашлись люди, которых поразили состояния транса, из которых она выходила с отблеском света в глазах. Ее освободили и дали жить, как она хотела, в созерцании, время от времени проваливаясь в транс и возвращаясь из него как живое свидетельство глубины, где стираются границы между сознанием и океаном безымянного. Только вид ее обнаруживал блаженство, которое она испытала. Когда ее спрашивали, в тех словах, к которым люди привыкли, что она видела в раю, она отвечала коротко: когда входят в дом, смотрят на хозяина, а не на утварь. Хозяина она не описывала.

Его нельзя было описать. Кришнамурти называл свое переживание безмянным. С детства он впадал в транс и не слушал учителя в школе. Учитель был его палкой, как недоумка. Теософы признали мальчика мессией. Но Кришнамурти отказался от этого звания и выступал перед людьми как мыслитель, как лектор. Лекции его разрушали суету ума, расчищали место для созерцания, но само созерцание он передавал короткими стихотворениями в прозе. К безмянному переживанию можно только подвести, а дальше – либо придет благодать, либо всю жизнь искатель живет на ее пороге. Не возмущаясь и не завидуя счастливым.

Сопоставление Кришнамурти с рабыней, которую долгое время заставляли отдаваться клиентам, показывает, что благодать не знает правил. Можно вспомнить, что и Христа упрекали, зачем он общается с мытарями и блудницами, а не с уважаемыми учеными. Между тем, достойные люди знали только перевод с божеского на человеческий. Узнавание подлинника не дается наукой, не дается высоким положением в общине. Антоний Блум радовался, что у него нет богословского образования, и говорил: как хорошо, что церковь и попы не испортили во мне живого чувства Бога².

Именно это живое чувство, это безмянное переживание дает всплески откровения. Чаще всего – короткие всплески. Длинные тексты складываются уже в уме, опираясь на откровение, но они не сплошь «откровенны». Системы строят ученики, связывая вместе то, что созерцатели осознали на выходе из благодати. В момент самой большой благодати не думается и не пишется. Всякое писание – уже перевод. А потом составляется канон, и в него вписывается все, что нужно для культуры. Далеко не все из этого действительно священо. Очень многое из текстов, вошедших в Библию, вовсе не ведут в глубину и не озарены безмянным светом. Очень многие там – всего только памятник древности. И еще Павлом было сказано: буква мертва, только дух животворит.

Христос срывал покровы вечной истины с правил, имевших временный и относительный смысл. В глазах хранителей предания он кощунствовал. Они юридически были правы, осудив его за кощунство. Но в высшем свете их правота была неправотой. Ибо Бог есть дух, а не текст.

Одна из задач узнавания – отделить всплеск откровения от мыслей, просто пришедших в голову пророку. В исламе строго разделяется Коран и хадисы. Хадисы – это высказывания Мохаммеда, не продиктованные Аллахом. Они авторитетны, но поменьше. Еще менее авторитетны теории правоведов.

² См. газету «Русская мысль», № 4327, 20-26 июля 2000 г., с.21. Репортаж Федора Василюка о беседах с Антонином Сурожским.

Их может быть несколько. В исламе на этом уровне допускался плюрализм. Существует четыре канонические школы права.

Однако и в Коране не все одинаково свято. Иногда Мохаммед принимал свою личную страсть, иногда – политические страсти за голос Бога. Для немусльманина очевидно, что все это человеческое, слишком человеческое... Европейские коранисты отчетливо различают стихи, возникшие в Мекке, и стихи, возникшие в Медине. В Мекке Мохаммед обращался к личности со словами любви и веры. В Медине он дает законы государству. Для своего времени это были хорошие законы. Но то, что очень хорошо пригнано к условиям VII в., именно поэтому не годится в новое время. Понимание этого постепенно приходит к современным мусульманам. Махмуд Мохаммед Таха, инженер, живший в Судане, предложил считать откровением только мекканские стихи. Для фанатиков буквы – это было кощунством, и Таху повесили. Но у Тахи есть ученики, и они развивают его идеи. Я думаю, что это толкование имеет шансы на победу, но очень не скоро.

Проблемы разной авторитетности текстов есть и в Евангелии. Сергей Аверинцев убедительно показал, что Петр, со слов которого написано Евангелие от Марка (переводчика Петра), ничего не знал о сказаниях про чудесное рождение Христа. Иоанн этих сказаний тоже не упоминает, он не хочет с ними спорить, а просто обходит их. На Западе некоторые издания Евангелий делаются в два цвета: красным – слова Христа, черным – сказания о нем. Из этого не следует, что сказочный материал в Евангелии не имеет значения. Ему просто нельзя приписывать фактическую достоверность. Это художественное выражение истины.

Ранний буддизм попытался резко разделить сутты, где запечатлены слова Будды, и джатаки, сказки, дававшие простор художественной фантазии. Но потом, в развитии северного буддизма, граница была смазана. К примеру, Вималакирти-сутра сама по себе – сказочное повествование, но это очень глубокий текст. Нет резкой разницы и между стихами и сказками у Зинаиды Миркиной. В христианской традиции есть проблема Ареопагитики, то есть трудов Псевдодионисия Ареопагита. Стилистически очевидно, что их автор – аноним V в., а не Дионисий, признанный православным святым I в. Но тексты Псевдодионисия основаны на подлинном мистическом опыте.

Наконец, есть тексты неканонизированных мистиков: Экхарта, Рейсбрука, Ангелуса Силезиуса. Я охотно опираюсь на них, я их узнаю. Но не каждая строка будит мое узнавание. Я считаю откровением рассказ Мартина Бубера, как он внезапно понял, что Бог реален в молитве и перестает быть реальным в рассуждениях о Боге. Намек на это есть уже в книге Иова. Впоследствии Бубер

развил свое озарение в замечательном трактате «Я и Ты»; озарением были две-три строки, остальное – развитием всплеска из глубины в поэтический трактат.

Я нахожу черты откровения в творчестве Е.Ф.Колышкиной, Томаса Мертона, Антония, в стихах Хилила Джибрана, Р.-М.Рильке, в стихах Зинаиды Миркиной. Такие всплески не образуют сплошной линии предания, подхваченного профессиональными толкователями. Это как бы пунктир всплесков, несколько пунктиров, в разных культурах; но они перекликаются, пересекают границы культур. Энтони де Мелло свел вместе и переработал фольклор Дальнего Востока, суфизма, хасидизма и на многих примерах показывает, что возможна передача самого состояния, в котором слово рождается, используя парадоксы как намек. Это особенно характерно для буддизма дзэн. Дзэн позволяет также лучше понять слова Августина: люби Бога и делай что хочешь. Там другие слова, примерно – перейди от помраченного сознания к просветленному, а там делай что хочешь. Конечно, за 1300–1400 лет были злоупотребления, но не больше, чем в религиях с сотнями строгих предписаний.

Важно то, что слово – только помощник в передаче чувства глубины. Вокруг людей, обладающих чувством глубины, образуются круги узнавания. Одни больше узнают, другие меньше, но надо ступить хоть на первую ступень пирамиды, взять направление в глубину и подлинность, к духу сквозь букву.

Всплески откровения у созерцателей начинаются смолоду и смолоду начинаются прорывы узнавания. Но юность захлестывают страсти, средний возраст запутывается в суете дел, и больше всего отдается созерцанию старость. После удач и неудач в построении дома, основанного на любви, после успехов и провалов на общественном поприще откровение и узнавание откровения становятся центром жизни. Можно считать случаем, что я узнал стихи Зинаиды Миркиной после смерти, разрушившей мой первый дом. Но не случайно, скорее законно, что мы поздно встретились, и узнавание стало частью нашей общей жизни. И не просто частью. Говоря словами Пастернака, сказанными о детстве, это часть, которая больше целого.

Я не забыл того, чему меня научило построение первого дома, но это прежнее знание только помогало строить новый дом. Ариаднина нить, которая проходит через всю нашу нынешнюю жизнь, – это узнавание, узнавание духовной глубины во всем, где она открывается, в движении древесных ветвей, в звуках музыки, в глазах друг друга. Меня упрекали за то, что мы превращаем свой дом в церковь. Это преувеличение, но школой созерцания может быть и семья. Проучившись год в этой школе, в Рублевском лесу, глядя на кроны сосен, я стал сочинять свое первое эссе. Эти эссе – своего рода комментарий к узнаванию.

Мир сложен на поверхности и делается все сложнее и сложнее. Мы запутываемся в противоречиях, раздражаемся и начинаем ненавидеть друг друга. Волны ненависти захлестывают нас. А глубина проста, как мир утробного младенца, окруженного физически ощутимой любовью материнского тела.

Младенец, который нас часто удивляет, наш внучатый племянник Андрюша, как-то спрашивал маму: а нельзя ли мне снова в животик? Мама объяснила, что нельзя. А покормить грудью? Это тоже оказалось невозможным. Но интересно смутное чувство, двигавшее Андрюшу: утроба была центром мира и почти таким же центром материнская грудь. А дальше жить надо на периферии, все более и более холодной. Этого Андрюша еще не пережил, но мы все давно узнали, и кто спасся в любовь, кто в молитву, в созерцание искусства, природы. Андрюша свою задачу понял и однажды вечером сформулировал: мама, я тебя люблю, и я хочу любить всех и покаяться. Мама удивилась, в чем покаяться, и он объяснил: приходили дяди чинить трубы и папа кричал: «мать», «мать». Надо покаяться.

Вот вам и программа: опора жизни – любовь к ближнему. Это в мире Андрюши получается, и у нас должно получаться. Но надо любить всех, а всех – не выходит. Срываемся. Поэтому надо покаяться, попросить помощи из глубины (как ее ни называть).

Узнавать – значит видеть в любви любовь и в ненависти ненависть. Тянуться к любви и отшатываться от ненависти. Когда текущие дела нас оставляют в покое, наступает время созерцания, поисков глубины – и узнавания глубины. Это третья ступень зрелости, зрелость третьего возраста.

Post scriptum Зинаиды Миркиной

Следить за голой черной веткой,
 Чуть-чуть колеблемою ветром,
 Следить часами за метелью
 С какой-то непонятной целью,
 Следить замороженным взглядом
 За всем, что вечно с нами рядом –
 И незаметно проследить
 Связующую с Богом нить.

Я хочу добавить несколько слов к сказанному Григорием Соломоновичем. Настоящее узнавание может придти только в результате глубокого внимания, замолкания, в результате подлинного созерцания.

Был такой эпизод в нашей жизни. В дом к нам пришел поэт, поэт хороший, к которому мы относились и относимся с глубокой симпатией. Пришел он, чтобы читать свою поэму о Христе. Читал с энтузиазмом, с захлебом, а у меня нарастало чувство боли: «Не то, не то». Когда он кончил, я спросила: «Сколько времени Вы молчали, дожидаясь, чтобы Христос сам заговорил через Вас?» Он был смущен. А я сказала, что в поэме этой есть мечта и воображение, но совершенно нет пространства, в котором автор смолкает. Я хотела бы с ним вместе войти в молчание, но он не замолкал ни на минуту. «И потому здесь Вы и нет Христа», – сказала я ему.

Я очень не люблю обижать людей, но говорить утешительную ложь считаю неуважением. Он обиделся. Потом это прошло, но тогда – обиделся.

Как часто мы путаем истинно существующее с воображаемым... Чтобы узнать истину, надо быть готовым на потерю всяких своих представлений о нем, на полное замолкание вплоть до утраты своей отдельности. Мы можем быть едины с миром, когда перестаем отделяться от него, когда наше «я» становится сквозным, прозрачным, когда то, что нас наполняет, нам гораздо важнее нас самих. И только тогда наступает узнавание. И тогда не может быть обиды, не говоря уже о зависти и ревности.

Узнавание – это долгий процесс, в конце которого мы чувствуем, что у всех у нас **общая сущность**. И вот тогда-то мы узнаем, что **есть Бог**.

Это то единое, что делает мир цельным живым организмом, а не набором бессмысленно снующих атомов, не связанных друг с другом. Это та глубина наша, которая не может быть ни моей, ни твоей. Она – и моя и твоя одновременно. На поверхности мириады форм. В глубине – единая сущность, Ее нельзя узнать с чужих слов. Ее надо открыть самому. Это и есть откровение. А все наши слова – переводы откровения с божеского языка на человеческий. Ни одно наше слово – не подлинное. Все переводы. И когда мы это знаем, мы смотрим не на палец, указывающий на луну, а на саму луну.

Все священные тексты, все до одного – это указание на то, что выразить нельзя. Они могут помочь нам найти невыразимое. Но они – не оно.

Нам божьи речи не слышны.
 На текст не тратьте сил.
 О, сколько нужно тишины,
 Чтоб Бог заговорил.
 Обряды наши так просты,
 Но полон тайны храм.
 А, сколько нужно высоты,
 Чтоб Бог открылся нам!
 И вспышка яркая видна,
 Как в вечный Дом окно,
 Где с тишиною тишина
 Вдруг сложатся в одно.

Тишина. Замолкаем перед несказуемым подлинником, встречу с которым ни с чем не спутаешь, потому что во время этой встречи жизнь твоя становится абсолютно полной.

Прервите речь... Пойдите... Замолчите...
 Пускай одни деревья говорят –
 Ветвей апрельских тоненькие нити,
 В узор которых вплелся весь закат.
 Свет золотистый, алый и багровый
 Становится прозрачнее, бледней...
 Сейчас звучит единственное Слово –
 Вот то, что нужно всей душе твоей.
 Великий час восполненного счастья –
 Как самый высший дар его приму. –
 Есть Слово, обращенное не к части
 Тебя, не к дробу, а к тебе ВСЕМУ.
 Когда ты приближался к этой тиши,
 Забыв про всё, что послано судьбой?
 Когда ты мог неслышимое слышать?
 Когда, когда же был ты всем собой?..